



В. Т. ЮНГБЛЮД

Внешнеполитическая мысль США*

<Фрагмент>

Глава I

Официальный Вашингтон и развитие внешнеполитических идей (1939–1945 гг.)

1.1. Ф. Д. Рузвельт: эволюция внешнеполитических воззрений в годы войны

4 марта 1933 г. народ Соединенных Штатов с надеждой и ожиданием приветствовал нового президента — Ф. Д. Рузвельта, обещавшего в своей инаугурационной речи не только экономическое восстановление, но и коренной пересмотр новой администрацией подхода к международным делам. Президент заявил о своем намерении способствовать «мировой перестройке» и установлению таких взаимоотношений между государствами, которые будут основываться на принципе добрососедства

Формирование специфического видения мировых проблем началось у ФДР задолго до его прихода в Белый дом. Основные составные части его теоретического багажа неоднократно подвергались пересмотру и корректировке. Воззрения Ф. Д. Рузвельта на рубеже 20–30-х гг. включали элементы во многом противоречивших друг другу концепций. Будучи в значительной степени последователем Т. Рузвельта и А. Мэхэна, он сохранил приверженность «политическому реализму» и доктрине «морской мощи». Испытав также влияние идей В. Вильсона, он выступал против неприкрытого империализма первого Рузвельта и западноевропейских государств. Такая амальгама идей позволяла ему еще в начале 1920-х гг. занимать видное место в лагере

* Впервые: Юнгблюд В. Т. *Внешнеполитическая мысль США*. Киров, 1998. Печатается по этому изданию. С. 7–49. — *Примеч. сост.*

сторонников Лиги Наций, рассматривая ее как необходимый инструмент повышения авторитета США в мире и достижения экономических и политических преимуществ.

Характеризуя дуализм во взглядах ФДР, А. Шлезингер-младший справедливо отмечал, что «Франклин Рузвельт, будучи наследником и адмирала Мэхэна и президента Вильсона, был последним, кто совмещал национальные интересы с идеалистической надеждой. Хотя и с трудом, интересы всегда выступали на передний план».

Включаясь в борьбу за место общенационального лидера, Рузвельт в 1928 г. выступил на страницах «Foreign Affairs» с целостным изложением своего понимания международных проблем. Предложив сосредоточить главные усилия на устранении причин экспансии и «открыть путь для прелиминарного рассмотрения разногласий», сократить морские виды вооружения и положить конец одностороннему вмешательству во внутренние дела государств, Рузвельт фактически достиг того рубежа, который стал отправным пунктом развития его внешнеполитических воззрений в 1933–1941 гг.

Оценивая дипломатию США в 30-е гг., американские историки часто ищут причины неудач в слабой теоретической подготовке президента, отсутствии у него реалистических доктрин, неумении должным образом организовать работу ведомств, вовлеченных во внешнеполитический процесс, непоследовательности и чрезмерной зависимости от ближайших советников. Отвечая на эти обвинения, с особым вниманием следует воспринимать свидетельства деятелей, длительное время работавших с Рузвельтом. Государственный секретарь Хэлл считал, что никто из президентов со времен Джефферсона и Адамса «не имел более полных знаний в области международной жизни... Его взгляды на мир были прогрессивными и дальновидными». С. Уэллес, занимавший ключевые посты в госдепартаменте, отмечал, что «президент изучил все аспекты американской внешней политики» и придал американской дипломатии «самый высокий уровень профессионализма за всю историю со времен Джона К. Адамса».

Приход новой администрации в Белый дом происходил в условиях активизации в Соединенных Штатах изоляционистских настроений. Выступления противников вовлечения страны в разрешение международных противоречий создавали серьезные ограничения для деятельности администрации, заставляли

маскировать подлинные намерения и проявлять сдержанность в высказываниях. ФДР не испытывал сомнений относительно общего внешнеполитического курса: «В его понимании изоляционизм, имеющий в определенных случаях свои тактические преимущества... являлся анахронизмом, отголоском невооруженно ушедших времен».

Предложенная им в 1933 г. внешнеполитическая программа имела ярко выраженную интернационалистскую направленность: урегулирование конфликтов в Западном полушарии и создание континентальной системы сотрудничества; установление дипломатических отношений и развитие экономических связей с Советским Союзом; разрешение противоречий в Тихоокеанском регионе на основе спокойного и взвешенного подхода; достижение взаимопонимания с ведущими государствами Европы; урегулирование экономических разногласий и проблемы военных долгов; снижение уровня вооружений и ослабление напряженности в международных отношениях.

При формировании внешнеполитического курса администрации Рузвельт постоянно учитывал два момента. Во-первых, необходимость поддержания адекватного уровня обороноспособности страны и, во-вторых, взаимосвязь и взаимозависимость различных государств, что требовало налаживания отношений сотрудничества. На различных отрезках предвоенной истории соотношение между этими элементами менялось. Во время первого президентского срока Рузвельт отдавал предпочтение второму направлению. Он применял практику активного дипломатического маневрирования, декларирования общих принципов, часто используя метод морального воздействия.

Рузвельт уловил господствующую в широких слоях американского народа ностальгию по социальной гармонии, обострившуюся в условиях кризиса. Внешнеполитическая риторика и практика этого периода способствовали и росту доверия американцев к правительству и снятию напряженности во взаимоотношениях с ближайшими соседями.

В 1933–1938 гг. центральное место в своих рассуждениях ФДР отводил положениям о признании государственного суверенитета и права на самоопределение. Учитывая темпы размежевания мира на военно-политические блоки, он дополнял концепцию добрососедства новыми элементами. В декабре 1936 г. во время меж-американской конференции в Буэнос-Айресе усилия Рузвельта

были направлены на то, чтобы сплотить государства континента под эгидой США на антигерманской и антияпонской основе.

Стремясь привлечь страны западного полушария к поддержке своего курса в других регионах земного шара, глава Белого дома сделал акцент на опасность, которая исходила от фашистско-милитаристского блока. 29 декабря 1940 г. в выступлении по радио президент говорил, что в случае падения Великобритании «все нам на американском континенте придется жить на прицеле пушки, пушки, заряженной разрывными снарядами как экономического, так и военного свойства». Указывая на реальность вторжения государств «оси» в Южную Америку, он подчеркивал, что «любое латиноамериканское государство в руках агрессоров тут же превратится в трамплин для нападения на следующую республику».

Временами в выступлениях Рузвельта проступали наметки планов глобального переустройства мира по образцу панамериканского содружества. «Наше поколение посвятило себя выработке принципов и созданию механизма, при помощи которого это полушарие может поддерживать отношения сотрудничества. Следующее поколение будет занято разработкой методов, при помощи которых Новый свет сможет жить в мире со старым», — заявил он в апреле 1939 г. Подчеркивая общность исторических судеб США и их южных соседей, ФДР ратовал за панамериканизацию идеи американской исключительности. Иногда подобным рассуждениям придавался оттенок мессианства: «Можем ли мы, республики Нового света, помочь Старому свету избежать катастрофы? Да, я убежден, что мы сможем», — заявлял президент. Для этого остальному миру, по его мнению, следовало просто взять на вооружение основные достижения политики «добротого соседа».

Накануне Второй мировой войны латиноамериканское направление являлось интегральной частью мировой стратегии США. Главный вклад Рузвельта в разработку теоретических аспектов континентальной политики состоял в том, что доктрина Монро перестала быть декларацией односторонних действий и пополнилась призывами к коллективным действиям по организации обороны. Параллельно Белый дом добивался вытеснения из Латинской Америки экономических конкурентов и создания надежных фильтров на пути проникновения враждебных идеологий. Консолидация государств континента должна была повысить

авторитет США на международной арене. «Президент старался использовать полушарие для того, чтобы влиять на характер взаимоотношений США с европейскими государствами, но с небольшим эффектом», — отмечал И. Геллман.

Приход Гитлера к власти в Германии и расширение японской экспансии на Дальнем Востоке делали либеральную риторику за пределами Западного полушария беспомощной. Возникновение замкнутых в экономическом отношении сфер и объединение наиболее агрессивных государств в военно-политический блок в 1936 г. требовали тщательного изучения мирового баланса сил.

Реализм Рузвельта в первую очередь проявился через его отношение к Советскому Союзу. Решение о дипломатическом признании СССР было принято им еще до прихода в Белый дом. «Это нелепость, что Соединенные Штаты не имеют дипломатических отношений с государством, занимающим такую большую территорию», — говорил президент в беседе с Буллитом. В планах ФДР в 1933 г. важное место занимал не только вопрос о расширении экспорта американских товаров за счет советского рынка, но и стремление включить СССР в баланс сил, противостоявших Германии и Японии.

В развитии дипломатических отношений между СССР и США в 30-е гг. важным фактором являлись взгляды ФДР на природу советского общественного строя. Он скептически оценивал опыт социалистического строительства в СССР и рассматривал «новый курс» как «демократическую альтернативу не только гитлеровскому нацизму, но и сталинскому коммунизму». Но даже в период советско-американского отчуждения глава Белого дома стремился, чтобы общий тон почти затухавшего в 30-е гг. советско-американского диалога сохранялся дружелюбным. В эволюции его взглядов на характер взаимоотношений с государством, принадлежавшим к иной социально-политической системе, прослеживается путь от констатации возможности сосуществования до признания необходимости военно-политического сотрудничества в борьбе против общей опасности.

Эклектизм внешнеполитического мышления Рузвельта наиболее полно проявился при разработке европейской политики США. Выдвижение главой Белого дома тезиса о необходимости разоружения в начале 30-х гг. впоследствии сменилось всесторонним обоснованием идеи наращивания военной и военно-морской мощи США. При этом он умело комбинировал применение изо-

ляционистской концепции невовлечения в войну с «интернационалистской» концепцией предотвращения войны. Ярче всего это проявилось в отношении ФДР к законодательству о нейтралитете. Его согласие подписать закон в 1935 г. сопровождалось вполне изоляционистской риторикой. Одновременно в Белом доме рассматривались планы по сплочению нейтральных государств под руководством США. ФДР изучал возможности коллективного нейтралитета, считая, что взаимодействие невоюющих государств может стать средством предотвращения войны.

Обеспокоенный приходом Гитлера к власти в Германии, Рузвельт в середине мая 1933 г. призвал руководителей ведущих государств к заключению пактов о ненападении, сокращению наступательных вооружений и отказу от применения военной силы за пределами границ своих государств. Во время пресс-конференции репортеры вынудили его конкретизировать позицию администрации. Оказалось, что президент не собирался добиваться участия США в комиссии по наблюдению за разоружением. Речь также не шла о возможности применения санкций против агрессоров. «Все это принципы. Дальше их провозглашения мы не идем», — таков был его ответ.

Выдвижение лозунга разоружения в 1933 г. для главы такого государства, как Соединенные Штаты, было беспроигрышным ходом. В случае достижения положительных результатов США получили бы превосходную возможность для расширения экономической экспансии, а сам президент мог завоевать репутацию миротворца. Учитывая существование в мире очагов войны, такая возможность была чисто теоретической. Зато в случае провалов переговоров о разоружении Рузвельт мог бы точно указать на главных виновников гонки вооружений и представить стране и Конгрессу собственную программу наращивания военной мощи в виде ответной меры. В том, что главным препятствием заключению договора о разоружении окажется Германия, он не сомневался.

Поиски универсальных средств урегулирования международных проблем в 1933–1937 гг. не увенчались успехом. Приближение войны наложило отпечаток на эволюцию внешнеполитических воззрений Рузвельта. Возможность вовлечения США в борьбу представлялась ему реальной уже во второй половине 1937 г. Неэффективность политики нейтралитета делала необходимым поиск новых подходов.

5 октября 1937 г. Ф. Д. Рузвельт выступил с речью в Чикаго. Текст выступления тщательно обсуждался и обдумывался в госдепартаменте. Результаты этой работы вылились в четыре предварительных проекта, составленных госсекретарем К. Хэллом и высокопоставленным дипломатом Н. Дэвисом. Сам президент немало потрудился над тем, чтобы отшлифовать свои формулировки, придав им одновременно и угрожающий и неопределенный характер. Плодом его предварительной работы стал знаменитый «карантинный» абзац, вставленный в текст выступления в последний момент.

Указав на угрозу миру, исходившую от существующих «режимов террора», ФДР призвал демократические государства поступить так же, как поступает любое разумное сообщество перед лицом распространения заразной болезни — установить «карантин». Речь вызвала бурную реакцию прессы и общественности. Многими в стране выступление президента воспринималось как свидетельство отхода администрации от политики нейтралитета. Рузвельт отказался конкретизировать основную мысль своего выступления, заставив страну и руководителей ведущих зарубежных держав недоумевать по поводу того, что он имел в виду под понятием «карантин».

«Карантинная» речь Рузвельта до сих пор является загадкой для исследователей. Нет единства во мнениях относительно того, имел ли президент в виду осуществление определенной внешнеполитической программы или заявление было обычным в его практике «пробным шаром», пущенным для выяснения общественной реакции.

Независимо от того какой именно смысл Рузвельт вкладывал в термин «карантин» 5 октября 1937 г., следует отметить, что именно в это время глава исполнительной власти США основательно взялся за разработку стратегии и тактики внешнеполитического курса администрации в условиях роста фашистско-милитаристской угрозы. При этом президент не связывал себя никаким определенным решением, стараясь сохранить свободу рук и простор для маневра во всех фазах развития международных конфликтов.

Что касается самой идеи «карантина», то скорее всего президент допускал возможность использования метода необъявленных действий, осуществляемых параллельно с усилиями демократических государств Европы. Такая тактика могла слу-

жить противовесом тактике необъявленной войны. По мнению историка Д. Рейнольдса, в этом и заключалась «современная техника» локализации конфликтов, предлагавшаяся президентом на пресс-конференции 6 октября 1937 г.

В 1937–1938 гг. Рузвельт продолжал изучение возможностей сближения с западными демократиями. Большая роль отводилась взаимоотношениям с Англией. Симпатии президента к Великобритании были «давними» и «фундаментальными». Отдавая политическую инициативу в руки Чемберлена и Даладье, он фактически присоединился к планам параллельных действий с западными демократиями, на которых настаивало руководство госдепартамента. В период Мюнхена глава исполнительной власти США свел свою задачу к тому, чтобы просто «находиться на палубе», не упуская события из-под контроля, но не вмешиваясь в них. Общую ситуацию, сложившуюся в Европе к сентябрю 1938 г., он оценивал весьма пессимистично. По имевшимся у него данным, Чехословакия была не в состоянии вести успешную войну, а превосходство Германии в авиации лишало Англию и Францию каких-либо надежд на успех. Позднее Рузвельт признался в том, что «утеря независимости Австрией и Чехословакией нанесла ущерб обороноспособности и интересам США».

Провал мюнхенского умиротворения подстегнул развертывание программ производства оружия и морского строительства. В выступлениях Рузвельта 1938–1941 гг. звучала тревога по поводу консолидации агрессивных сил. «Проблемой, вызывающей наше серьезное беспокойство, является опасность того, что европейские и азиатские творцы войны могут установить господство на океанах, которые являются дорогой к нашему полушарию», — говорил президент в декабре 1940 г. Глава Белого дома настойчиво предлагал два рецепта: во-первых, всемерное ограничение доступа агрессоров к сырьевым ресурсам и, во-вторых, оказание «всесторонней помощи правительствам стран, защищающихся от нападения “оси”».

После начала Второй мировой войны сила стала, с точки зрения ФДР, не только необходимым, но и законным инструментом внешней политики. «Двое сумасшедших уважают силу и только силу», — говорил он Г. Уоллесу, имея в виду Гитлера и Муссолини. Рассуждения президента о том, что ситуация может магическим образом измениться в том случае, если «кто-нибудь убьет» Гитлера и Муссолини, или в странах «оси» начнутся анти-

правительственные выступления, которые приведут к власти более реалистически мыслящих политиков, конечно же, были не настолько серьезными, чтобы на них можно было строить политические расчеты. Руководители внешней политики США прекрасно это понимали и иллюзий не испытывали.

Давая общую характеристику внешнеполитических воззрений главы исполнительной власти США в 1930-е гг., американский исследователь У. Коул писал: «Рузвельт действовал скорее интуитивно, чем систематически, скорее как художник, чем как ученый, скорее как новатор, чем как доктринер. Он был в высшей степени гибок и сторонился жестких формул и схем. Он любил играть идеями, использовать альтернативные подходы, не связывая себя бесповоротно с какой-либо определенной политикой... Он всегда оставлял за собой право выбора». С такой оценкой в основном можно согласиться.

Вклад ФДР в разработку идейных основ американской внешней политики значителен, но его составляющие неравнозначны. В одних случаях его воззрения определяли курс американской дипломатии. Так было при определении латиноамериканской политики и при формировании подхода к Советскому Союзу. Значительная роль в разработке и осуществлении планов сближения США с европейскими демократиями 1937–1941 гг. также принадлежала президенту. В других случаях ФДР оставался в тени, поручая государственному департаменту заниматься не только текущими делами, но и разработкой общих подходов. Это проявилось прежде всего в отношении дальневосточного направления политики администрации, где она на протяжении 1930-х гг. без особого успеха пыталась совместить традиционную политику «открытых дверей» с доктриной непризнания Г. Стимсона.

Когда Рузвельта спрашивали, какой политической философии он отдает предпочтение, то, как правило, президент уклонялся от точного ответа, ограничиваясь короткими заявлениями, где подчеркивал, что считает себя христианином и демократом. Тысячи книг и статей, составляющих современную рузвельтиану, очень немного могут добавить к этой самооценке. В книге английского исследователя Э. Мортимера говорится, что президент США был единственным из лидеров «большой тройки» политическим мыслителем, в то время, как его партнеры были всего лишь практиками, всецело озабоченными тактическими расчетами. Оставив в стороне столь категоричную оценку Черчилля и Ста-

лина, отметим, что воззрения Рузвельта, тем не менее, не просто выстроить в подобие стройной теории. Отчасти причина этого коренится в уникальном стиле принятия решений, неотделимом от самой сути его внешнеполитической стратегии: президент манипулировал людьми и идеями, запускал «пробные шары» и делал преднамеренные ложные выпады, его заявления часто были противоречивыми, а окончательные выводы, как правило, заметно отличались от первоначальных намерений. Глубоко прав У. Кимболл, утверждающий, что наследие Рузвельта не может быть точно определено ни одним из традиционных терминов.

Творец политики «нового курса» и инициатор послевоенного планирования сознательно уклонялся от того, чтобы идентифицировать себя с какой-то конкретной идеологией. По меткому выражению А. Шлезингера, он мог «брать идеологии напрокат», используя при этом талант и энергию «самоуверенных подчиненных, наделенных богатым воображением», для того, чтобы таким образом поддерживать баланс между «левыми» и «правыми». Во внешней политике такая тактика означала, что Рузвельт постоянно сталкивался с необходимостью гибкого реагирования на малейшие изменения настроений, происходившие на политических полюсах. Только так можно было обеспечить плавное скольжение между изоляционистами и интервенционистами, не нарушая при этом общенационального консенсуса.

Постоянно присутствовавшее в политике Рузвельта желание адаптировать свою внешнеполитическую программу к международным и внутривнутриполитическим реалиям побуждало историков разных поколений и научных школ видеть в нем то стопроцентного прагматика, живущего одним днем, то беспринципного оппортуниста. Наиболее последовательные в своем неприятии политического наследия и дипломатической практики президента авторы отказываются видеть в нем лидера, имеющего твердые убеждения и последовательную внешнеполитическую стратегию.

Критиков Рузвельта понять можно, поскольку почву для подобных обвинений подготовил сам президент. Он даже в узком кругу доверенных лиц редко пускался в откровения. Джеймс Рузвельт, в 1959 г. опубликовавший воспоминания о своем отце, писал о нем как о «самом одиноком человеке» в мире, который «ни перед кем не мог открыть свои мысли и душу». Секретарь президента У. Хассет добавляет, что «мистер Рузвельт во время войны превратил уединение в фетиш», предпочитая единолично

нести бремя ответственности. Он не любил доверять свои мысли бумаге, избегал стенографирования даже во время официальных переговоров, тем самым максимально затруднив задачу тех исследователей, которые стремились обнаружить в его идеях прочный моральный и интеллектуальный стержень.

И все же Рузвельт ни в коем случае не был затворником, отгородившим себя от внешнего мира. Напротив, он обладал развитым чувством истории и заботился о том, чтобы рядом с ним всегда находились люди, способные уберечь от забвения малейшие факты его биографии. Тяга к секретности распространялась главным образом на те области деятельности, которые имели отношение к наиболее важным, историческим решениям и планам. Отчасти это было результатом его природной скрытности и привычки интриговать свое окружение неопределенными высказываниями и провоцирующими намеками. Другая причина заключалась в исключительно ревностном отношении Рузвельта к президентским прерогативам. Решения стратегического уровня, по его мнению, могли приниматься только главой государства. В этом он видел свое предназначение. Именно в такие моменты он оказывался «наедине с судьбой» и не считал возможным уклоняться от ответственности.

Какими бы ни были противоречивыми внешнеполитические заявления Рузвельта, сделанные в разное время по разным поводам, в сфере формулирования общих принципов и конечных целей он всегда был до конца последователен и логичен.

В самом начале своей политической карьеры Рузвельт стал приверженцем идей В. Вильсона, предлагавшего создать всемирный орган для поддержания всеобщего мира. Во время президентской кампании 1920 г., выступая в роли кандидата демократической партии на пост вице-президента, он произнес около 800 речей в защиту Лиги Наций. В 1920–1930-х гг. тональность его выступлений заметно изменилась. Мир после Первой мировой войны не был ни прочным, ни справедливым, а Лига Наций оказалась слабым подобием того идеала, который рисовался ему в период работы Версальской конференции. Главным недостатком этого органа он считал отсутствие в его составе Соединенных Штатов Америки. В результате — решения принимались ведущими европейскими державами, зараженными колониальными предрассудками и национальным эгоизмом. Не только подъем изоляционистских настроений в стране в 1930-е гг., но и пони-

мание того, что Лига Наций оказалась неспособна предложить действенные меры урегулирования международных процессов, побуждало его воздерживаться от активного сотрудничества с этим органом. Лига была международным механизмом, доказавшим свою неэффективность. Рузвельта же в конце 30-х гг. занимали не механизмы, а глобальные цели, имеющие прочный фундамент и долговременную перспективу.

Начало Второй мировой войны не внесло больших изменений в его мировоззрение. Принципиальная новизна ситуации заключалась в том, что сейчас, когда последние призрачные надежды на сохранение мира оказались развеянными, а на месте старого, хотя и не совершенного, но все-таки порядка воцарился хаос, наступал момент для обдумывания планов новой мировой структуры, призванной исправить ошибки 20–30-х гг. Еще в конце 1939 г. его распоряжением был дан старт работам по послевоенному планированию в госдепартаменте. Сам президент долго хранил молчание, выбирая наиболее удобный момент для выступления на эту тему. Такой момент наступил в начале 1941 г. Обращаясь к Конгрессу 6 января, он провозгласил свой идеал будущего мира — мира, основанного на четырех свободах: свободе слова и самовыражения, свободе вероисповедания, свободе от нужды и свободе от страха. Очевидно, Рузвельт предполагал, что столь общая декларация многими может быть воспринята как ораторский прием тяготеющего к риторическим изыскам политика. Поэтому он позаботился о том, чтобы развеять у слушателей сомнения в серьезности своих слов и включил в речь несколько дополнительных абзацев. Мир четырех свобод, убеждал президент, «это не видение отдаленного будущего. Это конкретный базис для создания мира, достижимый уже в наше время и нашим поколением. Этот мир есть полная противоположность так называемому новому порядку, который пытаются установить диктаторы...

Их новому порядку мы противопоставляем более великую концепцию — порядок, основанный на морали. Справедливое общество готово без страха противостоять как планам мирового господства, так и иностранным революциям.

С самого начала нашей американской истории мы были вовлечены в перемены — в непрерывную мирную революцию — революцию, которая протекает без крайностей, спокойно приспособлявая себя к изменяющимся условиям... Мировой порядок,

к которому мы стремимся — это порядок, основанный на сотрудничестве свободных государств, работающих сообща в дружественном и цивилизованном мире».

Январское 1941 г. обращение Рузвельта примечательно во многих отношениях. Оно не оставляло места для компромисса с державами, развязавшими войну в Европе и Азии, и в этом состояла ее пропагандистско-психологический пафос. С другой стороны, президент наметил главные параметры будущего мироустройства, суть которого можно определить как динамичное равновесие членов международного сообщества, основанное на признании общих ценностей. И, наконец, из слов Рузвельта логически вытекало, что единственной страной, имеющей историческое и моральное право на лидерство в послевоенном мире могут быть только Соединенные Штаты, имеющие полуторавековой опыт революционных преобразований.

Концепция четырех свобод, таким образом, становилась отправной точкой как для определения военных целей, так и для послевоенного планирования. На Атлантической конференции в августе 1941 г. Рузвельт и Черчилль согласовали общие принципы политики двух держав в условиях войны. Две из четырех свобод (свобода от нужды и свобода от страха) были включены в текст итогового документа (6-й пункт Хартии). О двух других свободах не говорилось ни слова. Этот факт не прошел мимо внимания современников, критиковавших президента за то, что он, якобы, отклонился от своего же собственного первоначального идеала. Некоторые американские исследователи склонны придавать решающее значение тому обстоятельству, что Рузвельт в августе 1941 г. не настоял на включении в Атлантическую хартию всех четырех свобод.

Р. Низбет, например, доказывает, что во время первой встречи с Черчиллем президент «начал длинную серию неумолимых действий на пользу Сталину». Выразилось это в том, что он урезал свои требования, сделав их максимально приемлемыми для правительства СССР, рассчитывая со временем создать прочный американо-советский альянс, которому, по его мнению, и предстояло занять доминирующее место в будущей мировой структуре.

Спору нет, все, что говорилось, и, тем более, подписывалось на Атлантической конференции, в той или иной степени учитывало возможную реакцию Москвы. Но Низбет не прав как минимум в двух отношениях. Прежде всего, нет никаких оснований

считать, что в августе 1941 г. Рузвельт отказался от «четырех свобод», тем самым изменив свою внешнеполитическую стратегию. Лучше всего логика мыслей президента прослеживается в его выступлении в Конгрессе 21 августа 1941 г.: «Нет никакой необходимости еще раз говорить о том, что декларация принципов подразумевает и свободу религий, и свободу информации. Ни одно общество мира, организованное сообразно с провозглашенными принципами не сможет выжить без этих свобод, являющихся частью общей свободы, за которую мы ратуем». Итак, различия в текстах двух документов не доказывают драматической перемены в сознании президента. Просто более поздняя версия внешнеполитических целей США изначально задумывалась не как декларация, обращенная к гражданам страны, а как манифест двух англо-саксонских держав, адресованный всему миру. Вследствие этого имело место изменение терминологии. Вместо конкретных терминов «свобода слова» и «свобода вероисповедания» использовались более общие понятия «свободно выраженное желание народов» (пункт 2 «Хартии»), «уважение прав всех народов на выбор формы правления», «суверенитет», «самоуправление» (пункт 3).

Вторым слабым звеном в рассуждениях Низбета является его вывод о том, что Рузвельт еще за несколько месяцев до вступления США в войну держал в голове идею создания ООН. Американский автор в данном случае демонстрирует плохое знакомство с фактами. Дело в том, что в Арджентии Рузвельт наотрез отказался от «глупой идеи» восстановить Лигу Наций и считал преждевременными любые разговоры о создании нового всемирного органа до тех пор, пока великие державы не будут готовы выполнять функции международной полицейской силы. Таким образом, в августе 1941 г. Рузвельт не думал о том, как бы заманить Сталина в будущую всемирную организацию. Единственным намеком на то, что мысли о такой организации все-таки не были ему чужды, являлась предпоследняя строчка Атлантической хартии, в которой говорилось о том, что после войны необходимо создать «постоянную систему всеобщей безопасности», призванную проследить за разоружением государств, развязавших Вторую мировую войну. Естественно, что такая система была далеко не тем же самым, что ООН.

В начале ноября 1941 г. Рузвельт заявил: «Мы занимаемся планированием не временных препаратов против болезней,

поразивших мир, а созданием постоянно действующих оздоровительных средств...» Таким образом президент дал понять, что обдумывание планов послевоенного мироустройства продвинулось дальше определения общих целей и вступило в стадию разработки основных блоков будущего международного механизма. Вступление США в войну и подписание в первый день 1942 г. «Декларации объединенных наций», ознаменовавшее оформление антигитлеровской коалиции, были гигантским шагом на этом пути.

Означало ли создание военного союза в борьбе против «оси» появление новых позитивных факторов, воздействовавших на направление мыслей президента? С точки зрения понимания им долговременных целей национальной политики — нет. Они оформились раньше и оставались неизменными. Но с точки зрения определения путей достижения этих целей сдвиг был колоссальным. Сейчас Рузвельт получил возможность более откровенно высказываться по поводу характера будущего сотрудничества государств, определенных общим термином — объединенные нации. Ведь речь шла о союзниках, следовательно, самое время было начинать работу по сближению их позиций и налаживанию атмосферы доверия. Рузвельт понимал, что коль скоро стоит вопрос о будущем всего мира, значит, планирование этого будущего не может быть делом только американцев. В этом было принципиальное отличие его подхода от мнения унитаристов, унаследовавших традиции изоляционизма 30-х гг., не допускавших, что политика США может быть связана хоть какими-то международными обязательствами.

Сдвиг в мышлении Рузвельта с очевидностью проявился в вопросе о будущей системе всеобщей безопасности. Очевидно, этот вопрос занимал его и раньше, но вплоть до конца 1941 г. он старался избегать развернутых выступлений на эту тему. То, что он говорил, облекалось, как правило, в пространные формулы о разоружении и высокой ответственности Англии и США за поддержание мира в будущем.

С. Уэллес пишет, что ему доводилось не раз слышать слова президента о необходимости «полицейского контроля» со стороны англо-американских сил как о весьма «реалистичной» идее. Очевидно, «реалистичным» Рузвельту казался сам принцип (контроль дружественных и миролюбивых сверхдержав за нестабильной и менее развитой частью планеты), но не конкретный

план «надзора двух полицейских», в котором ощущался привкус англо-саксонского диктата. К тому же идея двух полицейских не могла долго жить по той причине, что с ее помощью невозможно было дать ответ на вопрос, кто же будет контролировать регионы, исторически и политически тяготеющие к СССР, а также обширные и многолюдные территории Азии, где ни США, ни Великобритания не имели достаточных рычагов влияния.

Логически можно было бы предположить, что при подобном развитии событий не обойтись без конфронтации с Советским Союзом (если он выстоит в войне) и сохранения, а возможно, и расширения колониальных империй. Естественно, что такое продолжение могло устроить Черчилля, но не Рузвельта. (Кстати сказать, именно британский премьер в годы войны активно навязывал американцам идею углубления англосаксонского единства, вплоть до общего гражданства и неизменно наталкивался на сдержанное отношение главы Белого дома.) Президент искал иные решения. Путь к ним оказался открыт в начале 1942 г. Именно тогда Рузвельт впервые заговорил о «четырех полицейских».

29 мая 1942 г. президент принимал в Белом доме В. М. Молотова. В повестке дня переговоров значились важные вопросы, в том числе о западных границах СССР и открытии второго фронта. Рузвельт же, едва обменявшись приветствиями с наркомом, заговорил совсем о другом. Советский текст протокола передает содержание этой беседы следующим образом: «Он (Рузвельт. — В. Ю.) думает, что для того, чтобы воспрепятствовать возникновению войны в течение ближайших 25–30 лет, необходимо создать международную полицейскую силу из 3–4 держав...

Рузвельт говорит о том, что полицейская сила должна быть образована в составе США, Англии, СССР и Китая. После нынешней войны победители — США, Англия, СССР — должны сохранить свое вооружение. Страны агрессоры и соучастники агрессоров — Германия, Япония, Франция, Италия, Румыния — и даже, больше того, Польша и Чехословакия должны быть, во-первых, разоружены, а во-вторых, в дальнейшем необходимо, чтобы нейтральные инспекторы наблюдали за разоруженными странами и не давали бы им возможности секретно вооружаться, как это делала Германия в течение 10 лет. Если однако какая-нибудь из стран начала бы секретно вооружаться, то 4 полицейских объявят стране блокаду... Если этого окажется недостаточно, тогда четыре полицейских будут бомбить эти страны. Другими

словами, четыре полицейских, представляя половину населения земного шара, должны будут силой поддерживать мир».

Нельзя забывать о том, что слова эти говорились в мае 1942 г., когда ситуация на восточном фронте продолжала оставаться тяжелой, а в Соединенных Штатах еще не прошел шок, вызванный Перл-Харбором. В такой обстановке довольно резкие формулировки президента — блокада, использование бомбардировок для наказания непокорных, утверждение мира при помощи силы — не казались чрезмерными. К тому же речь пока шла лишь о предварительном проекте. Тем не менее концепция «четырех полицейских» вплоть до последнего времени подвергается критике историками, доказывающими, что предложения Рузвельта фактически означали не что иное, как возрождение политики баланса сил и раздела мира на новые сферы влияния.

Подобные оценки весьма уязвимы и не выдерживают сопоставления с внушительным списком возражений.

Рузвельт никогда не говорил о сферах влияния, и предположение о том, что именно в них он видел надежное средство послевоенной стабилизации, могло бы иметь право на существование только в том случае, если бы имелись доказательства его желания видеть мир политически дезинтегрированным. Таких доказательств нет. Кроме того, столь вольная интерпретация идеи Рузвельта совершенно не стыкуется с последовательной пропагандой им экономической и культурной интеграции. Причем здесь президент не допускал никаких двусмысленных высказываний. Его интернационалистская по содержанию внешнеэкономическая программа оформилась в основных чертах в 1942 г. и впоследствии совершенствовалась и конкретизировалась специалистами из госдепартамента и министерства финансов. Что же касается иных сторон деятельности всемирной организации, то глава Белого дома подробно развивал эту тему в обществе своих помощников С. Розенмана и Г. Талли: «Когда объединенные нации будут оснащены надежным механизмом для выполнения функции международной полицейской силы, то различные... отделения организации (Рузвельт именовал ее тогда Ассоциацией Объединенных Наций. — В. Ю.) будут сосредоточены по всему миру, вместо того чтобы концентрироваться в Женеве: международные сельскохозяйственные функции будут исполняться в Соединенных Штатах, образование — в Китае, религия — в Тадж-Махале, здравоохранение — в Панаме, эко-

номика и финансы — в России, а искусство — в Париже». Таким образом, не баланс сил и не сферы влияния составляли основу его мыслей о будущем, а идея глобального сотрудничества, связывающего все страны множественными нитями и опирающегося на сеть международных центров, действующих под эгидой ООН.

Слова Рузвельта о необходимости использования силы в целях поддержания мира ни в коей мере не делают его поборником политики диктата. «Доктрина, согласно которой сильные должны доминировать над слабыми — это доктрина наших врагов, и мы ее отвергаем», — заявил он сразу же после возвращения из Тегерана. Его призывы к разоружению и созданию международной инспекции подразумевали не закрепление превосходства держав-победительниц, а, наоборот, утверждение в мире режима равных возможностей, при котором будет затруднено возникновение новых очагов напряженности. В рассуждениях президента имелась и патерналистская черта: он считал, что в семье народов есть старшие и младшие члены. На старших возложено больше ответственности и, следовательно, им необходимо предоставить более широкие полномочия. Рузвельт предсказывал, что после войны возможен всплеск национализма, неизбежно влекущий за собой новую агрессию. Любая, даже очень маленькая, война может перерасти в мировую. В этом он был уверен твердо. Поэтому долг «старших членов» сообщества состоял, по его мнению, в том, чтобы предотвратить нежелательное развитие событий, разоружив потенциально опасных членов и осуществляя каждодневный контроль до тех пор, пока угроза не отпадет полностью.

И, наконец, использование силы, считал Рузвельт, не должно быть постоянным и, тем более, универсальным средством поддержания порядка. Крайние методы казались ему оправданными для переходного периода от войны к миру. Даже в мыслях он не допускал возможности использования военной мощи для создания конфронтационной мировой структуры или нанесения удара по кому-то из бывших союзников. «Мир, который мы строим, не может быть ни американским, ни британским миром, не может он быть также русским, французским или китайским. Он не может быть миром больших или миром малых стран. Он должен быть миром, базирующимся на совместных усилиях всех стран», — заявил Рузвельт в Конгрессе, подводя итоги Ялтинской конференции. Лидерство США в этом мире должно было подкрепляться моральным авторитетом и экономической

мощью. Что касается вооруженных сил, то, оставаясь на высоком уровне готовности, они могли действовать только в рамках международного права и служить общим целям.

Ч. Болен, помогавший Рузвельту готовить ежегодное обращение к Конгрессу в 1945 г., облек мысли президента в точную формулировку, предложив следующий абзац: «В будущем мире злоупотребление силой, в том смысле, какой вкладывается в выражение “политика силы”, не должно быть контролирующим фактором международных отношений. Это сердцевина принципов, под которыми мы подписались. Мы не можем отрицать того, что сила по-прежнему является фактором мировой политики. Мы не можем отрицать также того, что сила сохраняет свое значение и как фактор национальной политики. Но в демократическом мире, как и в демократическом государстве, сила тесно связана с ответственностью и призвана защищать и оправдывать себя, действуя в границах всеобщего блага».

«Я часто мечтаю, но в то же время я исключительно практичный человек», — отметил Рузвельт в одном из писем. Признание, очевидно, было искренним. «Идеалист, прочно стоящий на земле», «политик, сочетающий черты крестоносца (то есть борца за отдаленную, но благородную идею. — В. Ю.) и прагматика» — такими характеристиками наделяли его историки, тем самым всего лишь перефразируя слова самого президента. Как никто другой он обладал талантом соединять противоположное. В практической политике это постоянно ставило его перед необходимостью совмещать возвышенные до идеализма цели с жесткими требованиями конкретной ситуации. Чаще всего выбор решений был весьма ограниченным войной, внутривойной политической обстановкой и поведением партнеров по коалиции.

Планирование послевоенной политики шло в госдепартаменте непрерывно, без излишней огласки. К осени 1943 г. здесь имелись уже солидные наработки. В августе президент одобрил «Предварительный проект Декларации четырех держав», тем самым ознаменовав поворот от общих рассуждений и предварительных консультаций к достижению конкретных соглашений. Выбор момента был далеко не случаен. В оставшиеся месяцы года предстояло провести важные переговоры с советскими и английскими руководителями, и президент желал продемонстрировать, что его мысли по-прежнему связаны с поиском оптимальных способов создания «мира четырех свобод» и воплощения целей Атланти-

ческой хартии. Главная мысль «Предварительной декларации» сводилась к тому, что Соединенные Штаты взяли курс на создание Организации Объединенных Наций в «ближайшем будущем», и этот орган должен иметь не региональный, а всемирный характер. В связи с этим перед Рузвельтом вырисовалось несколько первоочередных задач: 1) форсировать подготовку американского общественного мнения к усвоению идеи ООН (опыт Вильсона, предложившего создать Лигу Наций, а затем не сумевшего убедить американцев присоединиться к этой организации, научил его многому), 2) снабдить специалистов, занимавшихся подготовкой предварительных планов, точными директивами относительно целей, структуры и механизма функционирования будущей организации, 3) добиться международного признания своих замыслов на переговорах с представителями зарубежных держав, прежде всего — Сталиным и Черчиллем.

Очевидно, точного плана создания всемирного органа у Рузвельта не было ни в 1943, ни в 1945 г. Составление такого плана требовало разработки огромного числа технических деталей. Эту работу президент перепоручил госдепартаменту и контролировал ее через К. Хэлла, С. Уэллеса, а впоследствии Э. Стетгинууса и Г. Гопкинса. Его стихией было формирование общего замысла и претворение его в жизнь за столом переговоров «большой тройки». Движение в сторону намеченных им целей должно было начаться с создания «семейного круга», то есть превращения военных союзников в политических единомышленников, готовых к взаимоприемлемым компромиссам. Осуществление этой программы он возложил на себя и посвятил ей последние годы жизни.

Конференции 1943–1945 гг. проходили под знаком идей Рузвельта. Даже в тех случаях, когда высокий международный форум не требовал его непосредственного присутствия, его влияние ощущалось. С. Розенман, например, писал о значительном вкладе президента в работу Думбартон-Окской конференции* (август 1944 г.), выработавшей текст «Предложений по созданию всемирной международной организации», очень близкий

* Конференция в Думбартон-Окс (август — октябрь 1944) — Международная конференция стран — участников Антигитлеровской коалиции, на которой обсуждались вопросы послевоенного устройства мира, учреждения международной организации по поддержанию мира и безопасности. — *Примеч. сост.*

по содержанию к окончательному варианту, воплощенному в жизнь на Учредительной конференции Организации Объединенных Наций в Сан-Франциско (апрель — июнь 1945 г.), то есть уже после смерти президента. Во время Думбартон-Окского форума он неофициально беседовал с делегатами из СССР, Британии и Китая, и эти встречи, очевидно, сыграли немалую роль в том, что итоговые документы конференции «примечательным образом напоминали мысли, которые в течение нескольких лет развивал Рузвельт». «Его мощная личность внесла очень многое в подготовку соглашения между четырьмя участниками», — добавляет Розенман.

Несомненно, глава Белого дома сделал очень много для того, чтобы привести участников переговоров в Думбартон-Оксе к компромиссному результату. Конференции с его личным участием — Каирская, Тегеранская* и Ялтинская** — еще полнее раскрыли его умение находить точки соприкосновения участников переговоров и предлагать взаимоприемлемые решения. Однако Розенман несколько преувеличивает, когда пишет о почти полном сходстве высказываний Рузвельта и текстов документов, давших жизнь ООН. Имело место совпадение сути, но не формы. Так, например, в 1944 г. постепенно из употребления вышла концепция четырех полицейских, хотя отдельные ее элементы продолжали жить: США, СССР, Великобритания, Китай — стали постоянными членами Совета Безопасности ООН (позднее к этому перечню была добавлена пятая держава — Франция); идея международных полицейских сил также продолжила существование, но с 1944 г. речь шла уже не о военной мощи четырех держав, а об интернациональных по составу силах ООН, в первую очередь — военной авиации. Впрочем, изменение планов произошло с его ведома и согласия и отражало осознанную им самим необходимость поставить мечты на почву реальности.

* Первая встреча «большой тройки» на конференции в Тегеране в 22.11–01.12.1943. Конференция была призвана разработать окончательную стратегию борьбы против Германии и ее союзников. Также на ней был решен ряд вопросов о послевоенном устройстве мира и созданию ООН. — *Примеч. сост.*

** Ялтинская (Крымская) конференция союзных держав (4–11.02.1945) — вторая по счету встреча лидеров стран антигитлеровской коалиции — СССР, США и Великобритании — во время Второй мировой войны, посвященная установлению послевоенного мирового порядка. — *Примеч. сост.*

Обдумывая будущее мира, президент не стремился ограничить проблему созданием рабочего международного органа, пусть даже и снабженного совершенными механизмами поддержания безопасности и регулирования торгово-экономических и финансовых связей. Путь к «четырем свободам», по его мнению, пролегал также через демонтаж колониальной системы, установление опеки ООН над бывшими колониями, обеспечение права каждого народа на суверенитет и свободный выбор собственного пути развития и справедливое решение вопроса о границах. Каждая из названных тем несла в себе солидный запас взрывчатого вещества.

Рузвельт понимал, что быстрого и полного решения всех проблем достичь не удастся: опыт переговоров показал, что бессмысленно ждать от Черчилля или де Голля согласия на отказ от заокеанских владений своих государств. Точно так же имелась очень слабая надежда убедить Сталина предоставить прибалтийским народам право на проведение свободного плебисцита под наблюдением ООН или согласиться на процедуру свободных выборов в Центральной и Восточной Европе, где в 1944–1945 гг. оказались советские войска. Преодоление разногласий в этих пунктах требовало очень взвешенного соблюдения баланса интересов всех участников победоносного союза.

По мере приближения конца войны возникал новый фактор — баланс вероятностей, заставлявший искать ответы на ряд вопросов. Удастся ли после войны состыковать внешнеполитические цели СССР и Запада? Смогут ли державы-победительницы восполнить вакуум силы в Европе, возникновение которого было неизбежно после разгрома Германии и Италии и ослабления Франции? Не приведут ли различия в политических традициях и идеологические разногласия к превращению союзников во врагов? Рузвельт надеялся, что шансы получить благоприятный ответ на каждый из вопросов достаточно высоки. США, Англия и СССР доказали свою способность вести войну против общих врагов. Достаточно ли этого для того, чтобы совместными усилиями справиться с послевоенными трудностями? Решение этой проблемы зависело в первую очередь от того, смогут ли США и СССР поддерживать равноправный диалог.

В трудах по истории Второй мировой войны есть по крайней мере одна аксиома, не вызывающая возражений у историков различных направлений: возникновение антигитлеровской коалиции, в рамках которой стало возможным тесное сотруд-

ничество СССР и США, было обусловлено наличием общего врага — гитлеровской Германии. Вместе с тем следует согласиться с мнением Д. Гэддиса, утверждающего, что Рузвельт всю свою внешнеполитическую стратегию «строил на предположении, что альянс военного времени переживет войну». Президент США гораздо больше двух других членов «большой тройки» думал о перспективных факторах. Поэтому определение отношения к СССР с самого начала войны занимало важное место в обдумывании им оперативных и стратегических решений.

Призыв превратить мир в «сообщество добрых соседей», сформулированный в 1933 г., мало чем отличался от высказанной через десять лет идеи «семейного круга» — и в том и в другом случае объектом замыслов Рузвельта был весь мир. Вполне естественно, что с самого начала возникал вопрос: какая роль в такой глобальной структуре должна принадлежать Советскому Союзу. 1930-е годы не дали ответа на этот вопрос.

Начало войны ускорило вызревание рузвельтовской концепции роли Советского Союза в делах мирового сообщества, хотя процесс этот не был ни быстрым, ни прямолинейным. Сформулировать четкое отношение к советскому фактору в 1939–1941 гг. было исключительно сложно: курс Сталина на сближение с Берлином в 1939–1940 гг. вызывал острую критику даже со стороны американских либералов, и с этим обстоятельством приходилось считаться. Враждебные по отношению к США выпады советской прессы и бесконечные препирательства дипломатов по поводу многочисленных крупных и мелких разногласий отравляли и без того нездоровую атмосферу американо-советских отношений. Война с Финляндией, а затем и включение прибалтийских государств в состав СССР довели диалог Вашингтона и Москвы до точки замерзания.

Первые полтора года войны Рузвельт был перегружен внутренними делами. Много энергии поглощала предвыборная кампания 1940 г. Именно в это время в завершающую стадию вступила многолетняя борьба с изоляционистами. Кроме того, приходилось большое внимание уделять подготовке США к войне. Разработка политической линии в отношении СССР тем не менее не ускользала из-под его контроля.

Публичные выступления и личные письма президента 1939–1940 гг. изобилуют критическими выпадами в адрес советского руководства, пик которых приходится на зимние месяцы

1939–1940 гг., когда шла советско-финляндская война. Именно тогда Рузвельт характеризовал лидеров СССР как «людей, чья идея цивилизации и человеческого счастья тотально отлична от нашей».

Следует отметить, что практически все обвинительные высказывания делались Рузвельтом в связи с конкретными событиями и носили скорее пропагандистский, чем программный характер. Он обрушивался на политику Сталина главным образом с позиций моралиста и защитника норм международного права. Советское правительство, по его мнению, нарушало общепризнанные законы и попирало нравственные устои человеческой цивилизации и поэтому заслуживало осуждения. Несмотря на громкие декларации, политика администрации оставалась довольно осторожной. Президент пренебрег советами некоторых помощников, предлагавших разорвать дипломатические отношения с СССР, и ограничился провозглашением морального эмбарго. Он опасался, что более серьезное давление окончательно толкнет Сталина в объятия Гитлера. Такой поворот событий не казался ему невероятным в течение первого года войны.

В Вашингтоне были осведомлены о том, что отношения СССР и Германии лишены внутренней гармонии. Поэтому наиболее предпочтительной линией поведения в отношении Москвы Рузвельту казалось выжидание. Рано или поздно два диктаторских режима, по его мнению, должны были «вцепиться друг в друга по причине взаимной ненависти». Следовательно, правительству США надлежало дожидаться, когда это произойдет, и по мере возможностей содействовать осуществлению именно такой альтернативы. Госсекретарь К. Хэлл был вполне солидарен с президентом в этом вопросе и вспоминал после войны, что вплоть до 22 июня 1941 г. США пытались не допустить возникновения у советского руководства мыслей о том, что «в настоящий момент или в будущем мы можем стать врагами».

У. Гербердинг назвал настроение Рузвельта той поры «несентиментальной надеждой». Потенциальная возможность союза Вашингтона и Москвы, вне всякого сомнения, рассматривалась в Белом доме задолго до того, как такой союз получил реальное воплощение. Обдумывая эту идею, президент руководствовался главным образом геополитическими соображениями. Он, очевидно, осознавал, что идеология коммунистической партии, а также политические методы Сталина и его окружения будут

создавать многочисленные трудности на этом пути. Тем не менее его поведение демонстрировало все более нарастающую решимость преодолеть эти трудности.

Уже в первой половине 1941 г. тон открытых выступлений Рузвельта заметно изменился: президент по-прежнему использовал все свое красноречие для того, чтобы противопоставить американскую демократию режимам насилия и агрессии, но сейчас вместо привычных ранее терминов «тоталитарные государства» и «диктаторские режимы» в его речах, как правило, появлялись иные слова: «фашизм» и «нацизм». Логика его мышления вполне понятна: после того как были сформулированы долгосрочные цели внешней политики США («четыре свободы»), ему предстояло убедить население страны и все антифашистские силы мира в том, что провозглашенные им ориентиры вполне приемлемы для всех народов, в том числе и для народов СССР. Поэтому Советский Союз намеренно переводился в иной разряд, чем гитлеровская Германия. Рузвельт тем самым преодолевал укоренившиеся в американском сознании идеологические предубеждения и создавал почву для коалиционной дипломатии. После нападения Германии на Советский Союз решать эту задачу стало намного проще.

Возможно, самым точным выражением взглядов на советскую Россию и ее роль в начавшейся войне стало его послание римскому папе Пию XII от 3 сентября 1941 г.: «В Соединенных Штатах много людей различного вероисповедания считают, что в России утвердилась коммунистическая форма общества. По моему мнению, факт состоит в том, что Россия управляется диктатурой столь же жестокой по своей сути, как и германская диктатура. В то же время я считаю, что русская диктатура менее опасна для других государств, чем германская диктатура... Я считаю, что выживание России менее опасно для религии, для церкви как таковой и для человеческой цивилизации в целом, чем выживание германской разновидности диктатуры».

Итак, к моменту вступления США в войну позиция Рузвельта определилась достаточно четко: СССР — идеологически и политически чужд ценностям американской демократии, но наличие общего врага создает условия для сотрудничества между Москвой и Вашингтоном; советский вариант диктатуры менее агрессивен, чем германский и не несет непосредственной угрозы западной цивилизации; во время войны возможны такие пере-

мены в советском обществе, которые сделают правительство Сталина восприимчивым к американским внешнеполитическим идеалам, намеченным в концепции «четырех свобод» и Атлантической хартии.

Обращает на себя внимание тот факт, что Рузвельт никогда не делал темой своих выступлений коммунистическую идеологию как таковую. Ни он, ни его помощники, как правило, не проявляли большого интереса к деятельности компартии внутри страны. Он, очевидно, также не считал коммунистические лозунги достаточно важным элементом международной жизни, чтобы об этом следовало говорить особо. В одних случаях он признавал, что американцы при желании имеют право «мирно и открыто проповедовать известные идеалы теоретического коммунизма». В других — напоминал о том, что в советской России на самом деле нет свободных профсоюзов, да и сам труд не является свободным. И в том, и в другом случае президент отнюдь не стремился начинать пропагандистский поход против СССР. Похоже, что редкие антикоммунистические реплики вставлялись им в тексты речей главным образом для того, чтобы лишить аргументов своих критиков, обвинявших его в симпатиях к коммунизму.

Т. Лифка утверждает, что Рузвельт уже на ранней стадии воспринимал войну как конфликт идеологий. Вывод не кажется безупречным. Идеологические аспекты вне всякого сомнения принимались в расчет, но им отнюдь не отдавалось предпочтение перед экономическими, политическими или военно-стратегическими факторами. Кроме того, идеологический фронт был намечен главой Белого дома весьма приблизительно и в предельно широких терминах: демократия — против фашизма. Место коммунизма в этом противостоянии специально не анализировалось.

Рузвельта, очевидно, не смущал факт революционного происхождения советского государства. Он всегда гордился революционным наследием своей страны и воспринимал «новый курс» как достойное продолжение исторической традиции. Преобразования в СССР 1930-х гг. вполне могли казаться ему своеобразным славянским вариантом вестернизации экономики. Именно так советовал ему воспринимать индустриализацию посол Дж. Дэвис. Рузвельту навсегда врезались в память слова М. М. Литвинова, сказанные в 1933 г.: «Несколько лет назад мы были на 100% коммунистической страной, а США на 100% капиталистической. Через несколько лет мы будем на 60% коммунистической».

страной, а вы — на 60% капиталистической и наступит время, когда мы окажемся не так уж далеко друг от друга». Президент впоследствии не раз пользовался этой фразой.

Возможно, видение двух революционных, динамичных и неуклонно сближающихся систем возобладало в его мыслях после того, как СССР и США в декабре 1941 г. стали не теоретически, а на деле военными союзниками. Если Советский Союз движется навстречу Соединенным Штатам, то не означает ли это, что создаются условия для проведения параллельных курсов на международной арене? Не следует ли согласиться с теми, кто воспринимал крайности политической системы СССР — отсутствие личной свободы и массовые репрессии — временными, но неизбежными болезнями роста? И, наконец, не означает ли все это, что надуманными являются прогнозы многих дипломатов, говоривших о непримиримой враждебности идеологии марксизма-ленинизма американским интересам? Рузвельт не располагал готовыми решениями. Но он был оптимистом и имел обыкновение всегда надеяться на лучшее. Утвердительные ответы позволяли ему начать планирование не только военной стратегии, но и послевоенных перспектив, и президент сделал ставку на выигрыш, положившись на удачу и свою способность интуитивно делать правильные предположения.

В первые же часы после нападения Японии на Перл-Харбор Рузвельт встал перед необходимостью найти ответы на два вопроса: как выиграть войну и как обеспечить претворение в жизнь своих послевоенных планов? С самого начала для него было очевидно, что обе проблемы могли быть решены только в тесном взаимодействии с Советским Союзом. Путь к миру лежал через победу над Германией и Японией. Для достижения победы требовалось объединение усилий США и СССР. В этом состояла суть его политики в 1941–1945 гг. Только на этом пути он мог доказать верность собственных предположений. Именно поэтому на протяжении всей войны он воспринимал налаживание отношений с советским руководством как личное дело.

Таким образом, «русская» политика Рузвельта стала не только демонстрацией его либеральных надежд, но и воплощением его уникальных дипломатических методов. Стил и содержание переплелись в ней в неразрывное целое. Личная дипломатия, доверительный тон, подкупающее обаяние и неизменно уважительное отношение к советским руководителям — все это было

пущено в ход для того, чтобы создать атмосферу доверия и убедить собственное правительство, народ США и советских партнеров в том, что у США и СССР есть не только общие враги, но и общая послевоенная судьба.

Президент понимал, что единственный реальный шанс добиться цели — заручиться согласием и расположением Сталина. Отчасти эта задача решалась через личную переписку с Председателем Совета Министров СССР. Рузвельт не упускал ни одного случая для того, чтобы продемонстрировать советскому руководству свое восхищение успехами на фронтах. В дни поражений он всеми средствами стремился показать, что ему близки и понятны проблемы союзника.

Важную роль в планах Рузвельта играли и официальные каналы дипломатического общения. 31 мая 1942 г. в послании Черчиллю он сообщал о результатах своих встреч с В. М. Молотовым, подчеркивая свою заинтересованность в том, чтобы советский гость «увез отсюда некоторые конкретные результаты и дал благоприятный отчет Сталину».

Г. Гопкинс, А. Гарриман, Дж. Дэвис, П. Харли, побывавшие во время войны в Москве, также использовались президентом для того, чтобы утвердить в советской столице мнение об американцах, как о надежных союзниках. Впрочем, какими бы эффективными ни были действия дипломатов, Рузвельт все же отдавал предпочтение личным контактам. Несколько раз, начиная с февраля 1942 г., он обращался к Сталину с предложением организовать прямой обмен мнениями на высшем уровне. Сталин не спешил давать согласие, в результате чего первая их встреча состоялась лишь в конце 1943 г. в Тегеране.

Еще в середине марта 1942 г. Рузвельт заявил, что намерен лично контролировать выработку подхода союзников к советскому фактору. «Я могу вести дела со Сталиным гораздо лучше, чем ваш форин офис или мой госдепартамент. Сталин до глубины души ненавидит ваших высших руководителей. Я же вызываю у него симпатию и надеюсь, что так будет продолжаться и впредь», — утверждал президент в послании Черчиллю от 18 марта 1942 г. Трудно сказать, на чем основывалось столь категоричное суждение: до этого ему не доводилось лично встречаться со Сталиным. Наверняка можно говорить лишь об одном — в 1942 г. глава Белого дома выработал правило, которое, как он надеялся, могло дать хорошие результаты: «Нам посто-

янно следует помнить о личных особенностях нашего союзника и ту очень сложную и опасную ситуацию, в которой он оказался. Нельзя ожидать, что деятель, страна которого подверглась нападению, будет руководствоваться признанием первоочередности мировых проблем. Я полагаю, что нам следует попытаться поставить себя на его место». Эффективность такого поведения ему пришлось доказывать в Тегеране и Ялте.

Рузвельт очень много ждал от этих переговоров, и итоги первой же конференции «большой тройки» его обнадежили. Сталин произвел на него сильное впечатление. Еще до отъезда в Тегеран он отверг совет Буллита воспринимать советского лидера как «кавказского бандита», полагая, что на основе такого подхода вряд ли удастся повернуть развитие американо-советских отношений в благоприятное для США русло. Поэтому за столом переговоров и во время неофициальных встреч он искал подтверждения своей гипотезы, которая гласила, что «с русскими можно иметь дело».

У. Хассет сразу же после возвращения американской делегации из Тегерана спросил Рузвельта, какое впечатление произвел на него Сталин. «Человек, высеченный из гранита», — ответил президент, добавив, что из всех качеств советского руководителя его более всего поразили быстрота суждений, способность мгновенно схватывать предмет дискуссии и развитое чувство юмора. Элеонора Рузвельт вспоминала: «Президенту действительно нравился Сталин сам по себе, и когда чувство симпатии у него сложилось, он, похоже, стал считать, что невозможное может случиться».

Личные впечатления политиков самым серьезным образом влияют на мотивацию их решений. Опыт взаимодействия Рузвельта и Сталина в годы войны заставляет задаться вопросом: не был ли президент ослеплен образом «кремлевского горца» и не принял ли по этой причине желаемое за действительное? Второй вопрос логически вытекает из первого: не следует ли считать, что ошибочные представления о «дядюшке Джо», утвердившиеся в сознании президента, помешали ему правильно понять советские намерения в Восточной Европе и на Дальнем Востоке и логически привели к провалу всей его глобальной стратегии?

Версия о доверчивом и обманутом Рузвельте была весьма популярной в исторических трудах периода «холодной войны».

В последние годы эту традицию продолжает новое поколение американских историков, критикующих политику ФДР с право-консервативных позиций. Образ президента, «ухаживающего за Сталиным» и своим курсом на «умиротворение» СССР сделавшего неизбежной американо-советскую конфронтацию в 1945 г., по-прежнему весьма распространен в англоязычной историографии Второй мировой войны. В основе аргументации сторонников этого направления лежат утвердительные ответы на приведенные выше вопросы. Такая трактовка представляется прямолинейной и упрощенной.

Допущение, будто Рузвельт стал пленником собственных заблуждений, поверив в возможность длительной дружбы со Сталиным, хромает на обе ноги. Прежде всего, следует отметить, что президент никогда не позволял, чтобы соображения личного характера — симпатия, привязанность, дружба, любовь — управляли его политическими решениями. Не Сталин, а Черчилль смог больше, чем кто бы то ни было другой из зарубежных деятелей, получить оснований для того, чтобы называться другом Рузвельта. Но во время политических дискуссий он испытал на себе и едкий сарказм и непреклонность Рузвельта в тех случаях, когда разговор заходил о принципиальных разногласиях. Для Сталина ФДР не делал исключений. Не личные пристрастия диктовали президенту целесообразность той или иной политической линии. Дело обстояло как раз наоборот. В случае со Сталиным политическая необходимость навязывала главе Белого дома курс на сближение с руководством СССР.

Вряд ли стоит придавать решающее значение тому обстоятельству, что Рузвельт несколько раз тепло отозвался о советском руководителе. Если на таких фактах строить вывод о якобы имевшем место «ослеплении» президента, то придется признать, что это ослепление было массовым. Многие американцы, встречавшиеся со Сталиным во время войны, давали ему довольно комплиментарную характеристику. «Он жесткий, но очень реалистичный политик», — говорил о нем Э. Стеттиниус после Ялты. «Сталин — спокойный человек. Он старше, чем я думал, но более проникательный и расчетливый, чем мне представлялось раньше. Он быстро думает», — такое наблюдение сделал в Потсдаме С. Розенман.

А. Гарриман, наконец, мнение которого особо весомо, поскольку он имел возможность наблюдать за повседневной работой

Сталина, назвал его «исключительно эффективным военным лидером», в характере которого загадочным образом сочетались темная и светлая стороны. «Те, кто не видел его лично, считали Сталина обыкновенным тираном. Я же видел и другие его качества — развитый ум, фантастическую способность схватывать детали, пронизательность, удивительную человеческую чувствительность, которую он был в состоянии демонстрировать, по крайней мере, во время войны. Я считаю, что он был лучше информирован, чем Рузвельт, и более реалистичен, чем Черчилль. В некоторых отношениях он был наиболее эффективным военным лидером. В то же время он был, конечно, кровавым тираном. Я должен признаться, что для меня Сталин остается наиболее непостижимым и противоречивым характером из всех, какие я знал», — писал Гарриман, суммируя свои впечатления в начале 1946 г.

Конечно, мнение американских дипломатов, как и выводы самого Рузвельта, могли быть поверхностными и односторонними. Они действительно невольно переносили на руководителя СССР свое восхищение победами Красной Армии. Определенную, порой весьма значительную роль, могло играть психологически точное и уверенное поведение Сталина во время переговоров. И все же игнорирование того факта, что их оценки выражали реально сложившуюся в рамках антигитлеровской коалиции атмосферу сотрудничества, значило бы идти против исторической правды. Не менее серьезной погрешностью можно считать вывод о том, что Рузвельт, утвердив личные рабочие и неформальные отношения со Сталиным, загнал себя в ловушку, из которой был один выход — односторонние уступки.

Президент США не рассматривал достижение согласия со Сталиным как самоцель. Взаимное доверие, по его мнению, должно было лишь создать предпосылки для совместного продвижения к взаимоприемлемым результатам. Судя по всему, ему удалось заручиться ответной симпатией Сталина, который «уважал Рузвельта», «редко спорил с ним, а если ему случалось отказывать просьбам президента, то он всегда делал это с сожалением». И нет ни одного доказательства тому, что судьба американско-советских отношений на завершающем этапе войны и в послевоенные годы смогла бы сложиться иначе в том случае, если бы Рузвельт не справился со своей локальной задачей и вместо нелегкого, но все-таки консенсуса, достигнутого в Тегеране и Ялте, слу-

чилсЯ бы разлад, чреватый преждевременным разрушением антифашистского альянса.

В любом случае отношение Рузвельта к СССР определялось не только и не столько его мнением, пусть даже и несколько завышенным, о собственных способностях находить общий язык с Кремлем. Решающую роль играли иные обстоятельства: умение правильно оценить действительное положение дел в рамках американо-советского диалога и соотнести достигнутые результаты с собственными глобальными замыслами. Президент был последовательно прагматичен в каждом своем шаге. «Его стиль состоял в том, чтобы следовать собственным выводам, учитывая требования момента», — писал о нем Розенман. Чтобы убедиться в точности такого заключения необходимо ознакомиться с тем, как он воспринимал результаты наиболее важных конференций военного времени — Тегеранской и Ялтинской. Другая проблема — это оценка им политических намерений СССР в Европе и на Дальнем Востоке: была ли она реалистичной, или ФДР допускал неоправданную идеализацию политики Сталина. И последнее — каким образом он определял характер американских интересов в тех регионах, где в скором будущем должно было состояться прямое соприкосновение советских и американских сил — в Европе и на Дальнем Востоке.

Проще всего дать ответ на первую из обозначенных выше проблем. Хорошо известны слова Рузвельта, сказанные сразу же после Московской конференции министров иностранных дел 1943 г.: «Порой, однако, я чувствую, что миру здорово повезет, если он получит 50 % ожидаемого после войны успеха. И это было бы много». Скептицизм президента не развеялся ни после Тегерана, ни после Ялты. А. Берл запечатлел в своем дневнике фразу, которую ФДР обронил при встрече с ним сразу же после возвращения из Крыма: «Адольф, я не говорил, что результаты безупречны. Я говорил, что это лучшее, чего я мог достичь». Результаты двух саммитов были намного скромнее намеченной им сверхзадачи, но они фиксировали определенное продвижение вперед его планов послевоенного мироустройства и позволяли надеяться на то, что в скором будущем удастся создать рабочую процедуру урегулирования спорных политических вопросов.

Обманывался ли Рузвельт относительно советских послевоенных целей? Вопрос этот будоражит умы историков уже полвека. Критики президента доказывают, что именно в оценке последствий

вступления Красной Армии в Восточную Европу ФДР допустил роковые просчеты. Тексты официальных выступлений, казалось бы, подтверждают выводы о том, что в 1943–1945 гг. проницательность отказала Рузвельту. «Я думаю, что русские определенно дружелюбны нам. Они не пытаются подчинить себе остальную Европу и мир... Они не исповедуют никаких сумасшедших идей захвата и т. п., и сейчас, когда они начали узнавать нас, они сильнее, чем раньше, настроены принимать нас такими, какие мы есть...

И все те страхи, которые свойственны многим людям в нашей стране, отчасти обоснованные страхи, о том, что русские собираются установить свое господство в Европе, лично у меня не вызывают чувства согласия. Они уже владеют слишком большим “куском пирога”... чтобы стремиться на много лет вперед связать себя проблемами, вызывающими головную боль», — заявил президент 8 марта 1944 г. Но эти слова говорились для широкой аудитории, к тому же в год выборов.

За закрытыми дверями президент не скрывал, что его надежды на послевоенную идиллию в Европе отнюдь не являются безоговорочными. В августе 1943 г. во время конференции в Квебеке он признал, что положение России в Европе после поражения Германии «будет доминирующим, поскольку здесь не будет силы, способной противостоять ее огромной военной мощи». Даже в Средиземноморье, где, по его мнению, Великобритания имела шансы прочно утвердить свое влияние, противостоять России без помощи США будет чрезвычайно сложно. На той же конференции начальники штабов Англии и США предлагали более тщательно проанализировать возможность использования Советским Союзом войны с целью расширения коммунистической экспансии. Высказывалось даже предположение о том, что Германия, возможно, предпочитает капитуляцию перед англо-американскими союзниками советскому вторжению. Рузвельт не стал развивать эту тему. Это противоречило бы его же собственной концепции безоговорочной капитуляции и нанесло бы несомненный ущерб коалиционной стратегии. Но тревоги военных не были ему чужды. Чуть позже он отдал распоряжение о том, чтобы были подготовлены планы быстрого продвижения союзных войск в сторону Берлина. Несомненно, президент опасался, что наступление советских войск в Восточной и Центральной Европе, а тем более взятие ими Берлина, могло дать Сталину слишком много политических преимуществ.

Рузвельт несколько раз спрашивал у начальника штаба армии Дж. Маршалла, готовы ли силы союзников достичь столицы Германии одновременно с русскими. Не жажда престижа, а трезвые политические расчеты скрывались за этой заинтересованностью. Только серьезные военные успехи могли создать условия для того, чтобы США получили возможность на равных принять участие в реорганизации Европы. Быстрое продвижение армий союзников на восток могло обозначить границу распространения советского влияния на Запад. В оценках президента, таким образом, не было и намека на «политическое простодушие», о котором часто пишут его критики.

В 1944–1945 гг. воззрения Рузвельта не изменились. Именно по его указанию военное министерство начало формулировать оборонную доктрину США на ближайшие годы. Рузвельт не мог не знать о том, что генералы уже тогда рассматривали СССР как потенциальную угрозу. Самые первые разработки, принятые к руководству сразу же после завершения Второй мировой войны, не оставляют сомнения в том, что американская сторона еще до наступления победы предвидела, что в скором времени может возникнуть ситуация, когда с Советским Союзом придется разговаривать языком силы.

Рузвельт действительно много делал для укрепления союзнического доверия. Но он весьма тонко чувствовал линию, по которой проходила крайняя граница этого доверия. Сознание того факта, что атомные исследования могут привести к открытию, которое революционным образом изменит соотношение военно-стратегических потенциалов, не рождало в нем желания сделать результаты разработок достоянием всех союзников. Не без внутренней борьбы он решился поделиться секретами с Великобританией, но СССР остался вне ядерного клуба. «Он рассматривал атомную бомбу... как мощный противовес огромным сухопутным силам Советского Союза», — отмечает Р. Поуоски. Этот же автор с полным основанием заключает, что «Рузвельт... предпочитал лучше возбудить недоверие русских, чем открыть им средство, при помощи которого он надеялся сдерживать Советский Союз после войны».

Итак, даже на завершающей стадии войны надежды Рузвельта продолжали оставаться «несентиментальными». Опыт военных лет не убедил его в том, что Советский Союз по своей внутренней природе приблизился к демократиям. Ф. Франкфуртер

вспоминал, как в 1944–1945 гг. он многократно говорил президенту, что настало время переключиться с личности Сталина на анализ советской политической системы. Рузвельт слушал и не возражал. Возможно, под влиянием этих бесед, а также все более тревожных телеграмм, поступавших из Москвы от посла Гарримана, он несколько раз заявлял о том, что СССР не может считаться демократическим государством. «Я никогда не искал и не приветствовал поддержки со стороны любого человека или группы людей, исповедующих коммунизм или фашизм, или любую другую иностранную идеологию, которые подрывали бы американскую государственную систему или систему свободного предпринимательства и частного процветания», — заявил он 5 октября 1944 г. Конечно же, слова эти подбирались с учетом требований избирательной кампании. Противники Рузвельта обвиняли его в заискивании перед большевиками, и Рузвельту надо было отразить эти выпады. Но фраза эта была брошена вслух. Коммунизм и фашизм в ней были поставлены в одну строку. Эти симптомы были слишком явными, чтобы их можно было игнорировать. Президент явно хотел соблюсти дистанцию между СССР и США. Не только внутривластные расчеты, но и соображения международного характера руководили его поступками в последние месяцы жизни.

По меньшей мере три проблемы занимали приоритетное место в его планах на 1944–1945 гг.: 1) создание ООН; 2) включение СССР в войну с Японией на Дальнем Востоке; 3) справедливое и эффективное урегулирование территориальных и политических проблем в Европе на завершающей фазе войны. Совместить эти цели оказалось необыкновенно сложно. Объединенные нации в общих чертах выразили согласие с американскими планами учреждения всемирной организации, и эта работа в целом шла достаточно гладко. Вторая задача также не вызывала больших затруднений. СССР еще в 1942 г. дал обещание вступить в войну на Дальнем Востоке и регулярно подтверждал свое обещание. Предметом наиболее серьезных беспокойств и трудностей была Европа. Никто из политиков того времени, в том числе и Рузвельт, не имел ясного представления о том, как будут решены европейские проблемы. Состояние неопределенности на Западе стало быстро уступать место настроениям тревоги после того, как советские войска вошли в Восточную Европу и начали свой марш на Берлин. Рузвельта предупреждали, что односторон-

ние действия СССР могут привести к ситуации, при которой в Восточной, Юго-Восточной и Центральной Европе утвердятся прокоммунистические режимы, а в международных отношениях возобладают принципы, враждебные «четырем свободам» и Атлантической хартии.

Президент осознавал масштабы опасности. Его взгляд на механизм европейского урегулирования учитывал особенности момента. Отправными точками стали несколько положений:

- после разгрома Германия должна быть разоружена, расчленена и на переходный период от войны к миру поставлена под контроль держав-победительниц;

- Франция утратила свою историческую роль центра политического влияния на континенте и не сможет быть полицейской силой в этом регионе;

- Великобритания ослаблена войной и имеет ограниченные возможности для воздействия на европейскую политику; англичанам не следует рассчитывать на помощь США в том случае, если им вздумается возродить традиционную политику баланса сил;

- Соединенные Штаты имеют временную заинтересованность в европейских делах, которая проистекает из стремления обеспечить урегулирование политических и территориальных разногласий на основе либерально-демократических принципов. Присутствие американских войск не может быть постоянным и предположительно ограничится двумя годами;

- Советский Союз должен получить гарантии безопасности на будущее. Военная мощь и политическое влияние СССР делают его одним из наиболее значительных центров не только европейской, но и мировой политики;

- все европейские проблемы должны решаться в контексте мировой политики в соответствии с положениями программных документов, подписанных в годы войны участниками антигитлеровской коалиции.

Воззрения Рузвельта, как и в случае с послевоенным планированием, формировались в самых общих выражениях. По сути дела президент никогда не пытался изложить их систематически. Различные позиции высказывались им в разное время в виде рекомендаций, директив, реплик или отдельно брошенных фраз.

Вспоминая о последних месяцах войны, лорд Фрэнк говорил: «Мир был податлив. Его очертания не были определенными. На том месте, где некогда была Германия, был огромный вакуум,

и оккупационные силы смотрели друг на друга сквозь Центральную Германию. Никто не знал, как именно будет выглядеть новый порядок вещей. Он вырабатывался постепенно...». Рузвельт тем и отличался от своих главных партнеров по антигитлеровской коалиции, что он глубже и тоньше чем они улавливал эту «текучесть» и «податливость» мира. Черчилль и Сталин предпочитали конструировать рациональный порядок, основанный на надежных границах, международной иерархии, признании статус кво, охраняемого силой, приоритете национальных и идеологических интересов над общечеловеческими. Рузвельт же отдавал предпочтение движению, а не покою, единству, а не вражде, универсализму, а не национальному эгоизму. Поэтому в его схемах обычно было так много приблизительного: детали таили в себе угрозу конфликта, в то время как его общие замыслы могли казаться привлекательными для всех.

Какими бы неопределенными ни казались рассуждения Рузвельта о будущем Европы, в их основе лежал один фундаментальный вопрос: можно ли здесь избежать послевоенного раскола? Именно в этом пункте европейское и глобальное направления в мышлении Рузвельта пересекались, и ответ, рожденный в точке этого пересечения, был вполне конкретным и утвердительным. Был ли он окончательным — это уже другой вопрос.

3 сентября 1943 г. Рузвельт имел беседу с кардиналом Спеллманом, во время которой откровеннее чем обычно изложил свой взгляд на судьбу европейских народов. Он начал с предположения, что после войны Советский Союз сможет занять позиции доминирующей силы. Далее последовало пространное высказывание, где он признал, что европейским народам придется пережить эпоху огромных перемен для того, чтобы адаптироваться к новой роли России. ФДР надеялся, что этот период займет лет десять или двадцать, рассчитывая, что такого срока достаточно для того, чтобы «сделать Россию менее варварской». Независимо от того, «произойдет ли все так или дела пойдут совсем по-другому... Соединенным Штатам и Британии надлежит воздержаться от столкновения» с СССР. Он ожидал, что «из дружбы по принуждению со временем может получиться настоящая и длительная дружба».

Таким образом, в ближайшие десятилетия он видел Европу зоной перемен, и единственный способ сделать этот процесс здоровым, по его мнению, состоял в том, чтобы избежать конфронтации.

Рузвельт «пытался убедить себя в том, что Россия удовлетворится, когда ее внешним рубежам в Восточной Европе будет обеспечена безопасность», — вспоминал А. Берл. Сама по себе мысль о том, что западная граница СССР не должна подвергаться угрозе нападения ни в близком, ни в отдаленном будущем не вызывала возражений ни у советских, ни у американских политиков. Камнем преткновения стали концептуальные разногласия: для Рузвельта понятие «безопасность» ассоциировалось со стабильным международным порядком, поддерживаемым специальными подразделениями, подконтрольными объединенным нациям. Сталин, говоря о «безопасности», имел в виду утверждение вдоль советских границ «дружественных» режимов. Не видеть этих различий было невозможно. Сопоставление мнений американской и советской стороны по этому вопросу состоялось в Ялте. Итогом был компромисс. Хотя, по мнению некоторых членов американской делегации, Рузвельт в некоторых вопросах (прежде всего, в вопросе о политическом устройстве Польши и определении границ в Восточной Европе) проявил излишнюю уступчивость, в целом условия ялтинских договоренностей казались взаимоприемлемыми и обнадеживающими всем членам «команды» Рузвельта.

Э. Хисс, принимавший участие в работе Крымской конференции, много лет спустя попытался разъяснить суть рузвельтовского подхода к определению судьбы послевоенной Европы. Отметив, что содержание позиции Рузвельта невозможно определить в терминах эпохи «холодной войны», он продолжал: «...Реально в Ялте мы не делили Европу на сферы влияния. Вместе с тем, ...присутствовало понимание того обстоятельства, что древний “санитарный кордон”, который сделал возможным гитлеровское вторжение в СССР, должен быть отменен.

Согласие с настойчивыми заявлениями России о необходимости “дружественных” государств (в Восточной Европе) на практике означало, что Советы должны иметь здесь столько же влияния, сколько мы имели в Латинской Америке по доктрине Монро». Мнение Хисса, отвечавшего в госдепартаменте за подготовку проектов создания ООН, достаточно точно характеризует подход самого Рузвельта.

Очевидно, ссылка на доктрину Монро как на образец для подражания в европейских делах не может восприниматься буквально. Скорее это своеобразная метафора, которой пользова-

лись за неимением более точной и общепринятой терминологии. Тем не менее сам факт появления этой метафоры в контексте определения советской роли в послевоенной Европе, указывает на согласие американских политиков в 1945 г. признать в СССР величину, которая по своему политическому влиянию и военному потенциалу сопоставима с США.

Рузвельт успел убедиться в том, что формула европейского урегулирования, утвержденная в Ялте, не создает надежных гарантий для послевоенного сотрудничества. Разногласия в стане союзников оказались слишком глубокими. Ч. Болен пишет о неконтролируемом гневе президента, оскорбленного посланием Сталина от 3 апреля 1945 г., в котором советский премьер обвинял американское командование в попытке заключить сепаратное соглашение с Германией. Есть данные, позволяющие говорить о том, что вплоть до дня своей смерти президент оставлял открытым вопрос о будущей политической линии в отношении СССР.

Обстановка в мире в те недели менялась стремительно. Рузвельт никогда не был рабом какой-то одной схемы. Каждый новый день открывал дополнительные факты, в результате чего менялась и перспектива. Его последние послания отражают напряженную работу ума. «Мы не должны позволять, чтобы у кого бы то ни было могло возникнуть обманчивое впечатление, будто мы боимся, — писал он Черчиллю 6 апреля 1945 г. — В самые ближайшие дни наши армии окажутся на таких позициях, которые позволят нам стать жестче, чем раньше». Всего через два дня он направил тому же адресату несколько иные строки: «Я чувствую, что мы должны быть осторожны, чтобы не ослабить эффективность наших усилий, направленных на то, чтобы заставить русских уважать эти (ялтинские. — В. Ю.) решения». 11 апреля он подписал свою последнюю телеграмму Черчиллю: «Насколько будет возможно, я намерен сводить к минимуму советскую проблему, поскольку эта проблема в той или иной форме, похоже, будет возникать каждый день, и многие разногласия устранятся сами по себе. ...Тем не менее мы должны сохранять твердость...»

Какая из обдумываемых им альтернатив стала бы основой внешней политики США, проживи президент еще несколько месяцев? Ответ на этот вопрос может быть только гипотетическим. Для нас важно, что и в последние дни жизни Рузвельт ясно видел опасности, стоявшие на пути его глобальных замыслов. Жесткий

курс с позиции силы, «ялтинский» курс сотрудничества во имя общих целей и корректная, но твердая политика, основанная на взаимности — таковы основные варианты, которые он пытался осмыслить в начале апреля 1945 г.

Окончательный выбор довелось делать уже не ему. 12 апреля 1945 г. президент скончался. Его имя осталось в истории XX века символом антифашизма, стремления к установлению разумных и справедливых норм межгосударственного общения, политики сотрудничества и диалога.

Во многих отношениях его идеи определили стандарты мировой дипломатической практики на вторую половину двадцатого века. Можно называть различные причины краха его надежд на послевоенное сотрудничество: неспособность (или нежелание) снабдить собственную великую концепцию детальной проработкой частных проблем и технических деталей; немыслимая сложность практического обуздания национального эгоизма и межгосударственного соперничества, развернувшихся еще до наступления мира; тяжкий физический недуг, не позволявший ему в полную силу работать в те моменты, когда требовалась максимальная мобилизация всех сил; вероломство Сталина, соблюдавшего букву, но не дух ялтинских соглашений; или, наконец, ошибки его неопытного и интеллектуально неравноценного преемника. Каждая из этих причин в той или иной степени может иметь право на признание. Но за гранью подтверждения или опровержения всех перечисленных аргументов присутствует еще одно обстоятельство — идеи Рузвельта адресовались не только Америке, но и человечеству, не только настоящему, но и будущему. Они служили, возможно не вполне совершенным, но зато самым полным и привлекательным выражением объективно существующей в мире тенденции либерально-демократического развития. В этом смысле не только риторика, но и практика Рузвельта была и антитезой и антидотом против всех антидемократических систем и теорий. Сосуществование, сотрудничество, диалог с перспективой взаимного сближения — такова логика его внешнеполитической концепции. Но какова максимально возможная степень близости? — на этот вопрос он не знал ответа. Пятьдесят лет спустя после его смерти мир по-прежнему не знает ответа на этот вопрос. Именно поэтому внешнеполитическое наследие Рузвельта — президента, имя которого составило эпоху в истории международных отношений — будет вызывать

повышенный интерес всякий раз, когда мир вновь станет «податливым», когда возникнет потребность в обуздании военной угрозы, когда в головах политиков появится «несентиментальная надежда» на достижение всеобщего согласия.

